

# Элизабет Страут

# Оливия Киттеридж

*Моей матери,*

*умеющей превратить жизнь в волшебство и самой лучшей из всех известных мне  
рассказчиц*

## Аптека

Генри Киттеридж был фармацевтом и много лет держал аптеку в соседнем городке. Он отправлялся туда каждое утро по заснеженным дорогам, по дорогам, размокшим от дождей, а в летнее время, на самой окраине города, прежде чем он сворачивал на более широкую дорогу, ведущую к аптеке, кусты дикой малины и ежевики протягивали к нему свои буйно разросшиеся новые ветви. И сейчас, уйдя от дел, он по-прежнему просыпается рано и вспоминает о том, что эти утра становились его самой любимой частью дня, будто мир был его личной тайной: тихий ропот шин внизу, под ним, свет, проникающий сквозь утренний туман, залив, на краткий миг показавшийся справа, а потом — сосны, высокие и стройные... И почти всегда он ехал с приоткрытым окном, потому что любил запах хвои и густо просоленного воздуха, а зимой ему нравилось, как пахнет холод.

Аптека — небольшой двухэтажный дом, примыкавший к другому такому же, где отдельно друг от друга размещались два магазинчика — скобяной и продовольственный. Каждое утро Генри оставлял машину за домом, у больших железных баков, а затем входил в аптеку через черный ход и принимался зажигать везде свет, включать отопление или, если стояло лето, запускать потолочные вентиляторы. Он открывал сейф, закладывал деньги в кассовый аппарат, отпирал входную дверь, мыл руки и надевал белый лабораторный халат. Этот ритуал доставлял ему удовольствие, словно старая аптека, с ее полками, заполненными зубной пастой, витаминами, косметикой, украшениями для волос, даже швейными иглами и поздравительными открытками, так же как и резиновыми грелками и клизмами, была старым другом, надежным и стойким. И какие бы неприятности ни случались дома — например, тяжесть на душе из-за того, что его жена часто покидает постель, чтобы в темные ночные часы бродить по дому, — все это отступало, словно линия берега, когда Генри оказывался в своем убежище — в своей старой аптеке. Стоя в дальнем конце, у ящичков и шкафов с рядами пилюль и таблеток, Генри с радостью отвечал на телефонные звонки, с радостью встречал миссис Мерримэн, явившуюся за лекарством от повышенного давления, или старого Клиффа Мотта, пришедшего за дигиталисом; он пребывал в хорошем настроении, даже готовя валиум для Рэчел Джонс, чей муж сбежал в ту самую ночь, когда родился их ребенок. Генри прекрасно умел слушать и множество раз в неделю произносил: «Подумать только! Мне ужасно жаль слышать это!» или «Смотри-ка, ведь это просто здорово!»

В глубине души он таил вечное беспокойство человека, в детстве ставшего свидетелем двух случаев нервного расстройства матери, которая — за исключением этих эпизодов — пеклась о нем с крикливой нежностью. Поэтому, если вдруг — очень редко — случалось, что покупатель расстраивался из-за стоимости лекарства либо его раздражало качество марлевого бинта или пузыря со льдом, Генри делал все возможное, чтобы поскорее уладить недоразумение. Многие годы у него работала миссис Грейнджер; ее муж-рыбак занимался ловлей омаров, и она, казалось, приносила с собой в аптеку холодный бриз открытого моря, не испытывая особого желания угождать недоверчивым покупателям. Заполняя сигнатурки, Генри вполуха

прислушивался к тому, что происходит у кассового аппарата, не отправляет ли она прочь очередного покупателя. И не раз такой же внутренний трепет рождался в его душе, когда он страшился увидеть, что его жена Оливия слишком сурово обходится с Кристофером из-за не выполненного им домашнего задания или данного ему поручения: это было ощущение постоянно напряженного внимания, потребности сделать так, чтобы все были довольны и согласны меж собой. Если он слышал, что голос миссис Рейнджер начинает звучать немного громче, он делал несколько шагов вперед от своего поста в конце зала по направлению к центру, чтобы самому побеседовать с покупателем. Но вообще-то говоря, миссис Грейнджер прекрасно справлялась со своей работой. Генри ценил ее за неболтливость, за то, что она держала в совершенном порядке инвентарные списки и практически никогда не болела. Он был поражен, когда в одну непрекрасную ночь она неожиданно скончалась во сне, оставив у него странное чувство вины, будто он, столько лет работая с нею рядом, проглядел какие-то симптомы болезни, которую он, всю жизнь имеющий дело с пилюлями и шприцами, мог бы излечить.

— Серенькая, — произнесла Оливия, когда он взял себе новую сотрудницу. — На мышку похожа.

У Дениз Тибодо были круглые щеки и маленькие глазки, с любопытством смотрящие сквозь большие очки в коричневой оправе.

— Правда, на очень милую мышку, — ответил Генри, — привлекательную и смышленную.

— Человек не может привлекательно выглядеть, если не способен держаться прямо, — парировала Оливия.

И верно — узкие плечи Дениз чуть клонились вперед, словно она просила прощения за что-то. Ей было двадцать два года, и она только что окончила Вермонтский университет. Мужа ее тоже звали Генри, и Генри Киттеридж, впервые встретившись с Генри Тибодо, оказался просто покорен его совершенством, которого тот абсолютно не осознавал. Молодой человек был крепким и сильным, с твердыми чертами лица, а в глазах его сиял свет, придававший этому, вполне обычному, честному лицу неугасающее великолепие. Он был водопроводчиком и работал в фирме собственного дяди. Они с Дениз поженились год тому назад.

«Не очень-то жажду», — произнесла Оливия, когда Генри предложил пригласить молодую пару на обед. Он больше не поднимал разговора на эту тему. То было время, когда их сын, внешне еще не являвший признаков подросткового возраста, стал неожиданно строптивым и мрачным, его настроения были словно распыленный в воздухе яд, и Оливия казалась столь же изменившейся и переменчивой, как сам Кристофер. Мать и сын часто устраивали яростные ссоры, а временами так же неожиданно укрывались за завесой молчаливой близости, в пространстве которой озадаченный и ничего не понимающий Генри чувствовал себя третьим лишним.

Однако как-то под конец летнего дня, стоя с Дениз и Генри Тибодо на парковке за аптекой и глядя, как солнце прячется за пышные кроны сосен, Генри Киттеридж испытал такое острое желание быть рядом с этой юной парой, видеть их молодые лица, обращавшиеся к нему с застенчивым, но глубоким интересом, стоило ему завести рассказ о давних годах собственной университетской юности, что он произнес:

— Слушайте-ка, мы с Оливией хотим, чтобы вы пришли как-нибудь к нам поужинать. В ближайшее время.

Он ехал домой мимо высоких сосен, мимо промельков залива и представлял себе, как семейство Тибодо едет в противоположную сторону, к своему трейлеру на окраине городка. Он рисовал в своем воображении их дом на колесах, уютный и вычищенный до блеска, — Дениз была чистоплотна и аккуратна во всем, что делала, — и воображал, как они рассказывают друг другу о том, что случилось за день. Дениз, вполне возможно, говорит: «С таким боссом легко работается». А Генри, возможно, отвечает: «Да, мне он тоже по душе пришелся».

Генри Киттеридж въехал на подъездную аллею, которая была не столько аллеей, сколько небольшой травянистой лужайкой на верхушке холма, и увидел в саду Оливию.

— Привет, Олли! — сказал он, подойдя к жене.

Ему хотелось ее обнять, но лицо ее укрывал мрак, казалось, этот мрак стоит с ней рядом, словно знакомый, не желающий отойти в сторону. Генри сообщил жене, что пригласил Дениз с мужем на ужин.

— Это надо было сделать, — объяснил он.

Оливия отерла капельки пота с верхней губы, повернулась — вырвать пук сорной травы.

— Ну что ж тут поделаешь, мистер президент, — ответила она, — отдайте распоряжения повару.

Вечером в пятницу Дениз и Генри Тибодо приехали следом за ним. Молодой Генри сказал, пожимая руку Оливии:

— Приятный у вас дом. И с видом на воду. Мистер Киттеридж говорит, вы сами, вдвоем, его построили.

— Да, действительно.

За столом Кристофер уселся боком, с подростковой неуклюжестью развалившись на стуле, и не ответил, когда Генри Тибодо спросил его, занимается ли он в школе каким-нибудь видом спорта. Генри Киттеридж почувствовал, как в нем неожиданно вспыхнула ярость; ему захотелось прикрикнуть на мальчишку, чьи дурные манеры, как

ему представилось, свидетельствовали о чем-то неприятном, чего никак нельзя было ожидать в доме Киттериджей.

— Когда работаешь в аптеке, — обратилась Оливия к Дениз, ставя перед ней тарелку с печеными бобами, — узнаешь секреты всех жителей города. — Оливия села напротив молодой женщины и подтолкнула к ней бутылочку с кетчупом. — Приходится учиться держать язык за зубами. Впрочем, вы, кажется, и так умеете это делать.

— Дениз это понимает, — заметил Генри Киттеридж.

— Точно, — откликнулся ее муж. — Надежней, чем Дениз, вам никого не найти.

— Думаю, вы правы, — сказал Генри, передавая своему тезке корзинку с булочками. — И пожалуйста, зовите меня просто Генри. Это одно из моих самых любимых имен, — добавил он.

Дениз тихонько засмеялась. Он ей явно нравился, это было заметно даже ему самому.

Кристофер еще глубже вдавился в стул.

Родители Генри Тибодо жили далеко от берега, на ферме, так что оба Генри принялись рассуждать об урожаях, о вьющейся фасоли и о том, что кукуруза этим летом не такая сладкая из-за недостатка дождей. А еще о том, как лучше делать грядки для спаржи.

— Ох, ради всего святого! — произнесла Оливия, когда, передавая кетчуп молодому собеседнику, Генри опрокинул бутылочку и красная жидкость, словно загустевшая кровь, выплеснулась на дубовый стол.

Пытаясь поднять бутылку, он неловко подтолкнул ее, и она покатилась дальше, а кетчуп оказался у него на пальцах, а затем и на его белой рубашке.

— Оставь, Генри! — скомандовала Оливия, поднимаясь с места. — Просто, ради всего святого, оставь кетчуп в покое.

И Генри Тибодо, возможно, оттого, что услышал свое собственное имя, произнесенное резким тоном, испуганно выпрямился на стуле.

— Господи, ну и беспорядок же я тут устроил! — огорчился Генри Киттеридж.

На десерт каждому подали голубую пиалу с перекатывающимся в самой ее серединке шариком ванильного мороженого.

— Ванильное — самое мое любимое, — сказала Дениз.

— Неужели? — спросила Оливия.

— И мое тоже, — заявил Генри Киттеридж.

Пришла осень, утра становились все темнее, и в аптеку ненадолго попадала только тонкая прядка солнечного света, прежде чем солнце перекатывалось через крышу дома, оставляя торговому залу лишь свет потолочных ламп. Генри обычно стоял в конце зала, наполняя пластмассовые флакончики, отвечая на телефонные звонки, а Дениз — впереди, недалеко от входа, у кассового аппарата. Когда наступало время ланча, она разворачивала принесенный из дому сэндвич и устраивалась поесть в задней комнате, где был небольшой склад, а потом и Генри съедал там свой ланч, но порой, если никого в аптеке не было, они позволяли себе помедлить вместе за кофе, купленным в соседнем магазинчике. Дениз была по природе своей молчалива, но иногда у нее случались приступы разговорчивости. «Знаете, — говорила она, — моя мама много лет страдала рассеянным склерозом, так что мы все с детства научились ухаживать за больными. У меня трое братьев, и все совсем разные! Вам не кажется странным, что такое случается?» Самый старший брат, говорила Дениз, поправляя на полке бутылку с шампунем, был любимцем отца, пока не женился на девушке, которая отцу не понравилась. А ее собственные свекровь и свекор — просто замечательные. До Генри у нее был друг протестант, его родители не так хорошо к ней относились. «У нас с ним ничего бы не получилось», — сказала она, заправляя за ухо прядь волос. А Генри ответил ей: «Ну, ваш Генри — потрясающий молодой человек».

Она кивнула, улыбаясь глазами сквозь очки, будто тринадцатилетняя девчонка. И опять он представил себе их трейлер и ее вдвоем с мужем, прижавшихся друг к другу, словно щенята-переростки; он не мог объяснить, почему это давало ему какое-то особое ощущение счастья, — оно, словно жидкое золото, заполняло все его существо.

Дениз работала так же умело и энергично, как миссис Грейнджер, но гораздо спокойнее. Она могла сказать покупателю: «Прямо под витаминами, во втором проходе. Постойте-ка, я вам сама покажу». Как-то раз она призналась Генри, что иногда разрешает покупателям походить по аптеке, прежде чем они попросят ее им помочь. «Знаете, так они могут найти что-то нужное, о чем сами раньше не подумали. И у вас продажи поднимутся». На стекле полки с косметикой играли лучи зимнего солнца, деревянные половицы медово поблескивали.

Генри одобрительно поднял брови: «Мне здорово повезло, Дениз, когда вы вошли в эту дверь». Она тыльной стороной ладони подтолкнула повыше очки и провела метелкой для обметания пыли по баночкам с мазями.

Джерри Маккарти, паренек, доставлявший в аптеку фармацевтические товары из Портленда раз в неделю, а то и чаще — если требовалось, иногда тоже съедал свой ланч у них в задней комнате. В свои восемнадцать лет, только-только со школьной скамьи, он был крупным, толстым мальчишкой с гладкими щеками, и так обильно потел, что на его рубашке проступали влажные пятна, иногда даже на груди, чуть ниже сосков, так что можно было подумать, что у бедного парня, как у кормящей

матери, подтекает молоко. Он усаживался на ящик — его толстые колени поднимались почти до самых ушей — и жевал сэндвич, из которого вываливались залитые майонезом кусочки яичного салата или тунца, падавшие ему на рубашку. Не раз Генри наблюдал, как Дениз протягивает Джерри бумажное полотенце. Однажды он услышал, как она говорит парню: «Со мной такое тоже случается. Стоит мне взять сэндвич не с холодным мясом, я обязательно заляпаюсь». Это никак не могло соответствовать действительности. Дениз всегда была чиста и опрятна, как новенькая монетка, хоть и некрасива — посмотреть не на что. И простодушна, вся как на ладони.

«Добрый день, — обычно говорила она, отвечая на телефонный звонок. — Это городская аптека. Чем я могу помочь вам сегодня?» Как маленькая девочка, играющая во взрослую.

Или еще. Как-то в понедельник утром, когда воздух в помещении был пронзительно-холодным, Генри, совершая ритуал открытия аптеки, спросил:

— Ну как вы провели выходные, Дениз?

Накануне Оливия отказалась пойти с ним в церковь, и Генри, что было для него совершенно нетипично, резко заговорил с ней. «Неужели я слишком много прошу? — вдруг услышал он собственный голос, когда стоял на кухне, глядя себе брюки. — Всего лишь чтобы жена пошла вместе с мужем в церковь». Идти в церковь без нее, как ему подумалось, означало бы публично признать, что их брак оказался неудачным.

«Да, разумеется, это чертовски много — просить меня пойти с тобой! — Оливия чуть не брызгала слюной, резко распахнув двери своей ярости. — Ты себе просто не представляешь, до чего я устала: целый день преподаю в школе, сижу на всяких дурацких собраниях, где вынуждена слушать этого чертова идиота-директора! Хожу по магазинам. Готовлю. Стираю. Глажу. Делаю уроки с Кристофером! А ты... — Оливия схватилась руками за спинку столового стула, а ее темные волосы, спутавшиеся, еще не причесанные после сна, упали ей на глаза, — ты, мистер Главный Молельщик, Славный Малый Напоказ, надеешься, что я навсегда откажусь от своего личного воскресного утра и отправлюсь сидеть среди этих зазнавшихся ничтожеств?! — Оливия вдруг резко опустилась на стул. — Мне все это до смерти надоело, — закончила она. — До смерти».

Генри заливала тьма, душа его захлебывалась в потоках дегтя. Однако утром следующего дня Оливия заговорила с ним как ни в чем не бывало: «На прошлой неделе в машине Джима воняло, будто кого-то там вырвало. Надеюсь, он ее успел вычистить». Джим О'Кейси преподавал в одной с Оливией школе и из года в год отвозил туда и ее, и Кристофера.

Генри откликнулся: «Надеюсь». И таким образом с их ссорой было покончено.

— О, я замечательно провела выходные, — ответила Дениз, ее маленькие глазки глядели на него сквозь очки с такой детской радостью, что его сердце готово было разорваться надвое. — Мы поехали к родителям Генри и ночью копали картошку. Генри включил фары машины, так что мы могли копать. Находили картофелины в холодной земле — все равно как на Пасху яйца запрятанные искать!

Генри бросил распаковывать доставленный пенициллин и подошел ближе поговорить с Дениз. Покупателей еще не было, под витринным окном шипел радиатор. Генри сказал:

— Это чудесно, Дениз, правда?

Она кивнула и взялась рукой за верх полки с витаминами. На лице ее вдруг мелькнул страх.

— Я замерзла, — сказала она, — пошла посидеть в машине и стала смотреть, как Генри копает картошку. И подумала: это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

А Генри задал себе вопрос: что же могло случиться в ее такой еще недолгой жизни, что мешает ей поверить в счастье? Может быть, болезнь ее матери? И произнес:

— Так наслаждайтесь этим, Дениз. У вас впереди еще много лет счастья. А может быть, предположил он, возвращаясь к ящикам с лекарствами, дело отчасти в том, что она католичка, это заставляет людей чувствовать свою вину за все, что происходит.

Последовавший за этим год... Не был ли он самым счастливым годом в его жизни? Ему часто думалось именно так, хотя он понимал, что глупо заявлять такое про какой бы то ни было год собственного существования. Но в его воспоминаниях именно этот год нес в себе сладость времени, не наводящего тебя ни на мысли о начале, ни на мысли о конце, и, когда Генри ехал в аптеку во мгле раннего зимнего утра, а потом — в чуть брезжущем свете весенней зари и в раскрывающемся перед ним полнозвучном цветении лета, тихая радость от простых мелочей его работы, казалось, переполняет его до краев. Когда Генри Тибодо въезжал на усыпанный гравием двор позади аптеки, Генри Киттеридж выходил, чтобы придержать для Дениз дверь, и кричал ему: «Привет, Генри!» — а Генри Тибодо высовывал голову в окно машины и с широкой улыбкой кричал в ответ: «Привет, Генри!»; лицо его при этом светилось веселой искренностью. Иногда приветствие ограничивалось одним возгласом «Генри!». И другой Генри отвечал ему так же: «Генри!» Оба получали от этого огромное удовольствие, а Дениз, словно перекидываемый двумя мужчинами футбольный мяч, поспешно влетала в аптеку.

Когда она снимала варезки, ее руки выглядели худыми и маленькими, как у ребенка, однако, когда она касалась пальцами клавиш кассового аппарата или вкладывала что-то в белый аптечный пакет, они обретали движения и форму, свойственные изящной



взрослой женщине. Такие руки, думалось Генри, могут любовно касаться мужа, они со временем станут пеленать ребенка, гладить горячий от жара лоб, подкладывать под подушку подарок от феи «на зубок».

Наблюдая за Дениз, подталкивающей очки повыше на носу, чтобы удобнее было просматривать список имеющихся товаров, Генри думал, что эта маленькая женщина — суть и опора Америки, потому что как раз в то время начались все эти дела с хиппи, да к тому же Генри читал в «Ньюсуик» про марихуану и про свободную любовь, что вызывало у него чувство беспокойства, которое рассеивалось при одном взгляде на Дениз. «Мы катимся ко всем чертям, как древние римляне, — торжествующе утверждала Оливия. — Америка — огромный круг сыра, подгнивший изнутри». Однако Генри не утрачивал веры, что воздержанность восторжествует, тем более что в своей аптеке он каждый день работал рядом с молодой женщиной, чьей главной мечтой было создать вместе с мужем большую семью. «Меня не интересует феминистское движение за равноправие женщин, — говорила она Генри. — Я хочу, чтобы у нас был дом, я хочу стелить постели». И все же, если бы у него была дочь (он просто обожал бы дочь!), он предостерег бы ее от такого выбора. Он сказал бы ей: это замечательно — стели постели, но найди возможность и головой работать. Однако Дениз не была ему дочерью, так что ей он сказал, что создание домашнего очага — благородное дело, смутно сознавая при этом ту степень свободы, которую дает привязанность, не рожденная кровными узами.

Генри нравилось простодушие Дениз, нравилась чистота ее мечтаний, но это ни в коем случае не означало, что он был в нее влюблен. На самом деле природная сдержанность Дениз заставляла его желать Оливию с какой-то новой страстью, мощной волной поднимавшейся в нем. Манера Оливии резко высказывать свое мнение, ее полные груди, бурные вспышки ее гнева и неожиданный грудной смех открывали ему новые горизонты рвущего сердце эротизма, и порой, когда он в темноте ночи приподнимался и опускался в супружеской постели, на ум ему приходила вовсе не Дениз, но, странным образом, ее муж, молодой и сильный, неистовость юноши, дающего волю необузданной плотскости обладания... И тогда Генри Киттериджа охватывало безумное возбуждение, словно, любя свою жену, он сливался воедино со всеми мужчинами мира в любви к миру женщин, каждая из которых хранит глубоко в себе неразгаданную вековую тайну земли.

«Обожемой!» — произносила Оливия, когда он оставлял ее в покое.

В колледже Генри Тибодо играл в футбол, точно так же, как и Генри Киттеридж.

— Правда ведь, здорово было? — как-то раз спросил его молодой Генри. Он рано приехал за Дениз и зашел в аптеку. — Слышать, как люди кричат тебе с трибун? Видеть, что мяч летит прямо к тебе, и понимать, что вот сейчас ты его схватишь? Ох и любил же я все это! — Он широко улыбнулся, его ясное лицо словно отражало свет дня. — Ох и любил!

— Боюсь, мне до вас было ой как далеко, — ответил ему Генри Киттеридж.

Он хорошо бегал, прекрасно умел увертываться с мячом, уклоняться от удара, но ему не доставало агрессивности, чтобы быть по-настоящему хорошим игроком. Ему теперь неловко вспоминать, что перед каждой игрой он испытывал чувство страха. Он даже обрадовался, когда его оценки резко пошли вниз и пришлось оставить футбол.

— Да я не такой уж хороший игрок был, — утешил его Генри Тибодо, потирая голову большой ладонью. — Просто мне это нравилось.

— Он хорошо играл, — сказала Дениз, надевая пальто. — Капитаны болельщиков даже ободрялку специальную для него придумали. — Застенчиво, но с гордостью она произнесла: «О-го-го, Тибодо, о-го-го!»

Направляясь к двери, Генри Тибодо обернулся.

— Послушайте, — сказал он. — Мы собираемся пригласить вас с Оливией к нам на обед.

— Ну, знаете... Не надо вам беспокоиться.

Дениз тогда написала Оливии записку, благодаря за ужин, мелким аккуратным почерком. Оливия просмотрела записку, подтолкнула ее по столу поближе к Генри:

— Почерк такой же осторожный, как она сама, — заметила она. — Она самая непривлекательная девочка из всех, кого я в жизни видела. Такая бесцветная — зачем же она носит серое и беж?

— Не знаю.

Генри не стал возражать, будто и сам задавался этим вопросом. Но он этим вопросом не задавался.

— Простушка, — заявила Оливия.

Однако Дениз вовсе не была простушкой. Она прекрасно считала, и она запоминала все, что говорил ей Генри о фармацевтических препаратах, которые продавались в его аптеке. В университете она специализировалась по зоологии и была вполне осведомлена о молекулярных структурах. Иногда, во время перерыва, она оставалась сидеть на ящике в задней комнате с мерковским учебником [*Мерковский учебник (Merck Manuel of Diagnostics and Therapy)* — учебник по диагностике и терапии издательского дома «Мерк», специализирующегося на издании медицинской литературы и справочников. (*Здесь и далее примечания переводчика.*)] на коленях. Ее детское личико, серьезность которому придавали большие очки, внимательно вглядывалось в страницу, острые коленки были высоко подняты, плечи наклонены вперед.

«Прелесть!» — мелькало у Генри в голове, когда он, проходя мимо, заглядывал в открытую дверь. Он мог тогда спросить: «У вас все в порядке, Дениз?» И она отвечала: «О да, у меня все просто замечательно». Генри улыбался. Его улыбка не исчезала и тогда, когда он устанавливал в шкафу флаконы, печатал ярлыки, выписывал сигнатурки. Характер Дениз сочетался с его характером так же легко, как аспирин сочетается с энзимом СОХ-2: Генри проживал каждый свой день без боли. Мирное шипение радиатора, звон колокольчика, когда кто-то входит в дверь аптеки, поскрипывание деревянных половиц, позвякивание кассового аппарата. В те дни ему порой приходило в голову, что его аптека подобна здоровой автономной нервной системе в спокойном рабочем состоянии.

Зато вечерами его заливал адреналин.

— Все, чем я тут занимаюсь, — это готовлю, убираю и подбираю за всеми и каждым! — порой кричала Оливия, с грохотом ставя перед ним тарелку мясного жаркого. — Все только и ждут, чтобы я их обслужила, только и смотрят, а сами и пальцем не шевельнут.

От тревоги у Генри покалывало руки — от пальцев до самых плеч.

— Наверное, тебе стоит побольше помогать маме по дому, — сказал он Кристоферу.

— Как ты смеешь указывать ему, что ему надо делать? Ты даже не уделяешь ему внимания хотя бы настолько, чтобы поинтересоваться тем, что ему приходится переносить на занятиях по социальным наукам! — Оливия выкрикнула эти слова очень громко, но Кристофер хранил молчание, хотя на губах его играла самодовольная ухмылка. — Даже от Джима О'Кейси мальчик видит больше сочувствия, чем от тебя, — заключила Оливия, с силой шлепнув о стол салфеткой.

— Джим работает в той же школе, только незачем кричать, и он видит вас с Крисом каждый день. А в чем там дело с социальными науками?

— Только в том, что там учитель — идиот и Джим это интуитивно чувствует, — парировала Оливия. — А ты, кстати, тоже видишь Кристофера каждый день. Только ты ничего не знаешь, потому что укрылся в своем крохотном мирке с этой мышкой-дурнушкой.

— Она прекрасный работник, — ответил Генри.

Однако по утрам мрачное настроение Оливии обычно рассеивалось, и Генри мог отправляться на работу с возродившейся надеждой, которая прошлым вечером казалась безвозвратно истаявшей. В аптеке же царило полное доброжелательство к мужчинам.

Дениз спросила Джерри Маккарти, не собирается ли он поступить в университетский колледж. «Не знаю, — ответил тот. — Не думаю». Лицо парня залила краска.

Возможно, он малость неравнодушен к Дениз или чувствует себя ребенком в ее присутствии — толсторуким и толстопузым мальчишкой, все еще живущим с родителями.

«Пойди на вечернее отделение, — весело посоветовала Дениз, — можно записаться сразу после Рождества. Пройди хотя бы один семестр. Тебе надо это сделать». Дениз кивнула Джерри и взглянула на Генри, который тоже ему кивнул.

«Дениз права, Джерри, — сказал Генри, никогда всерьез не думавший об этом мальчишке. — Что, собственно, тебя интересует?»

Тот пожал толстыми плечами.

«Но что-то же должно казаться тебе интересным?»

«Да вот это все». — Джерри указал на ящики с таблетками, которые недавно сам внес в аптеку через черный ход.

И он, как ни поразительно, поступил на вечернее отделение, выбрав себе курс естественных наук, а когда весной получил круглые пятерки, Дениз сказала ему: «Никуда не уходи!» Она скоро вернулась из магазина с небольшим тортом в коробке и произнесла: «Генри, если никто нам не позвонит, мы устроим праздник». Запихивая в рот куски торта, Джерри рассказал Дениз, что в воскресенье перед экзаменом пошел на мессу и молился о том, чтобы все сдать как следует.

Такие вещи всегда поражали Генри, когда он думал о католиках. Он чуть было не сказал: «Это не Господь получил за тебя пятерки, Джерри, ты сам их заработал». Но Дениз уже спрашивала: «Ты посещаешь храм каждое воскресенье?»

Мальчишка смутился, принялся слизывать глазировку с пальцев. «Теперь буду», — пообещал он. Дениз рассмеялась, с ней вместе засмеялся и Джерри. Лицо его покраснелось и блестело.

Сейчас тоже осень, но прошло так много лет, что в это воскресное утро, проведя по волосам расческой, Генри, прежде чем убрать ее в карман, вытаскивает из ее черных пластмассовых зубов несколько седых волосков. Перед уходом в церковь он разжигает в печи огонь для Оливии. «Не забудь принести домой сплетни», — говорит ему жена, плотнее натягивая свитер и заглядывая в кастрюлю, где, булькая, тушатся яблоки: Оливия готовит яблочный соус из последних осенних плодов. Их аромат на миг обволакивает Генри — сладкий и такой знакомый, он пробуждает в нем какое-то давнее томление... и он выходит из дому в своем твидовом костюме и при галстук. «Постараюсь», — обещает он Оливии. Кажется, теперь никто уже не ходит в церковь в костюме.

На самом деле церковь теперь регулярно посещает лишь горстка прихожан. Это печалит Генри, это его беспокоит. За последние пять лет в храме сменилось два священника, ни тот ни другой не принесли с собой на церковную кафедру особого душевного подъема. А теперешний — мужчина с бородой и рясу не носит. Генри подозревает, что и этот долго здесь не удержится. Он молод, у него большая семья, ему надо делать карьеру. Малое число прихожан в церкви особенно беспокоит Генри потому, что он опасается, не чувствуют ли и остальные то, что он так старательно пытается от себя отогнать, — эти еженедельные собрания больше не дают им познать истинное утешение. Когда они склоняют головы в молитве или поют псалом, больше не возникает ощущения, во всяком случае у Генри, что их благословляет присутствие Господне. Даже Оливия и та превратилась в нераскаянную атеистку. Он не знает, когда это произошло. Все было иначе, когда они только поженились; они говорили об анатомировании животных на уроках биологии в их колледже, рассуждая о том, как одна лишь респираторная система — сама по себе чудо, *творение* чудесной силы.

Генри ведет машину по немощенной проселочной дороге, сворачивает на мощеную, которая выведет его в город. На обнаженных ветвях кленов осталось совсем немного густо-красных листьев; на дубах листья сморщились и порыжели; ненадолго сквозь деревья проглядывает залив, сегодня он плоский и серо-стальной под затянутым тучами ноябрьским небом.

Генри проезжает мимо того места, где когда-то стояла его аптека. Теперь здесь — большой аптекарский магазин известной фирмы, с огромными стеклянными раздвижными дверями; он занимает всю ту территорию, где стояли и старая аптека, и продовольственный магазин. Он такой большой, что даже стоянка на заднем дворе, где, бывало, Генри задерживался в конце дня, разговаривая с Дениз у мусорных баков, прежде чем оба они усаживались каждый в свою машину, — их стоянка занята этим магазином, который продает не только лекарства и аптекарские товары, но и огромные рулоны бумажных полотенец, и коробки пластиковых мешков любых размеров — для мусора. Там и тарелки и кружки можно купить, шпатели, кошачью еду. Деревья, что росли рядом с домом, срубили — освободили место для парковки. И Генри думает: привыкаешь к каким-то вещам, даже к этим вещам не привыкая.

Кажется, столько лет прошло с тех пор, как Дениз стояла здесь во дворе, дрожа от холода, прежде чем сесть в машину. Какой молоденькой она была тогда! Как больно вспоминать выражение недоумения на ее юном лице, и все же он припоминает, что умел вызвать у нее улыбку. А теперь, так далеко — в Техасе, — так далеко, что это все равно что другая страна, Дениз уже столько же лет, сколько тогда было ему самому. Она как-то вечером уронила красную варежку, он нагнулся и поднял ее, раскрыл обшлаг и смотрел, как она просовывает туда свою маленькую руку.

Белая церковь стоит рядом с обнажившимися кленами. Генри понимает, почему ему так остро вспоминается Дениз. На прошлой неделе от нее не пришла поздравительная

открытка ко дню его рождения, а ведь он всегда, и всегда вовремя, вот уже двадцать лет получал от нее открытки. Вместе с открыткой она присылает ему записку. Иногда одна или две строки в записке выделяются, как, например, в прошлом году, когда она упомянула, что Пол, только что перешедший в среднюю школу, стал очень тучным. Это ее слово, она написала: «У Пола возникла серьезная проблема — при его трехстах фунтах [*Фунт* (мера веса) — 453,6 г. Пол весит ок. 136 кг.] он стал тучным». Дениз не пишет, что она или ее муж собираются делать по этому поводу, если, вообще говоря, тут можно что-то «делать». Младшие девочки-двойняшки обе спортивные, им уже начинают звонить мальчишки, что, как пишет Дениз, «приводит меня в ужас». Она никогда не подписывает письма обычным «С любовью», просто пишет свое имя — мелким аккуратным почерком: «Дениз».

На усыпанной гравием стоянке перед церковью Дейзи Фостер только что вышла из машины. Ее губы раздвигаются в улыбке притворного удивления и радости, впрочем радости как раз непритворной, Генри уверен — Дейзи всегда рада его видеть. Ее муж умер два года назад; полицейский в отставке, докурившийся до смерти, он был на двадцать пять лет старше Дейзи: она остается всегда очаровательной, всегда доброжелательной, с добрыми голубыми глазами. Что с нею станет, Генри и представления не имеет. Генри думает, садясь на свое обычное место на скамье в среднем ряду, что женщины гораздо мужественнее мужчин. Сама вероятность того, что Оливия может умереть и оставить его в одиночестве, вызывает в его сознании мгновения такого ужаса, с которым он никак не может совладать.

И тут его мысли снова возвращаются к аптеке, которой больше нет.

— Генри в эти выходные на охоту собирается, — как-то ноябрьским утром сообщила ему Дениз. — А вы охотитесь, Генри? — Она закладывала деньги в кассовые ящички и не смотрела на него.

— Бывало, — ответил ей Генри. — Теперь уже слишком стар стал для этого.

В тот единственный раз, что ему случилось подстрелить лань, его стошнило, когда он увидел, как прелестное испуганное животное замотало вверх-вниз головой, прежде чем тонкие ножки лани подогнулись и она упала на усыпанную листвою землю. «Ну и слабак же ты», — сказала тогда Оливия.

— Генри едет с Тони Кьюзио. — Дениз задвинула ящик кассового аппарата и обошла прилавок — поправить пачки мятных пастилок, освежающих дыхание, и жевательной резинки, аккуратно выложенных на передней полке. — Это его лучший друг с пятилетнего возраста.

— А что Тони сейчас делает?

— Тони женат, и малышей у них двое. Работает в энергетической компании «Мидкоуст пауэр» и с женой ругается. — Дениз взглянула на Генри поверх полки. — Не говорите Генри, что я вам про это сказала.

— Не скажу.

— Она всегда очень нервная, кричит. Ох, я ни за что не хотела бы так жить.

— Да уж, так жить просто невозможно.

Зазвонил телефон. Дениз повернулась на носках, словно танцуя, подошла и взяла трубку. «Доброе утро. Это городская аптека. Чем могу помочь?» — Пауза. — «О да, у нас имеются мультивитамины без железа. Приходите, пожалуйста, мы вас ждем».

В обеденный перерыв Дениз рассказывала здоровенному, с детским лицом Джерри:

— Мой муж, когда мы с ним еще только встречались и куда-нибудь ходили, постоянно говорил мне про Тони. Про их ссоры, когда они были мальчишками. Как-то они ушли из дому и не успели до темноты вернуться, и мать Тони ему сказала: «Я так волновалась, Тони! Я могла бы тебя убить!» — Дениз сняла ниточку с рукава своего серого свитера. — А я всегда считала это странным. Волноваться, что твой ребенок, может быть, погиб, а потом говорить, что ты его убила бы.

— Погодите-погодите, — сказал на это Генри, обходя ящики и коробки, которые Джерри внес в заднюю комнату. — С самого первого подскока температуры у ребенка вы уже никогда не перестанете волноваться.

— Ой, не могу дождаться! — откликнулась Дениз.

Генри впервые пришла в голову мысль, что скоро у нее пойдут дети и она больше не будет у него работать.

Неожиданно заговорил Джерри:

— А вам он нравится? Тони? У вас отношения хорошие?

— Он мне нравится, — ответила Дениз. — Слава богу. Я ужасно боялась с ним знакомиться. А у тебя есть лучший друг детства?

— Думаю, да, — сказал Джерри, и его гладкие щеки залил румянец. — Только теперь мы вроде как пошли каждый своим путем.

— А моя лучшая подруга, — продолжала разговор Дениз, — когда мы перешли в среднюю школу, вроде как беспутной стала. Хочешь еще содовой?

Суббота дома. Ланч: сэндвичи с крабовым мясом, запеченные с сыром. Кристофер уже поднес ко рту кусок, когда зазвонил телефон и Оливия пошла взять трубку.

Кристофер, хотя его никто об этом не просил, не стал есть и застыл с сэндвичем в руке. Казалось, в сознании Генри отпечатался этот момент: инстинктивное уважительное внимание сына в то самое время, как послышался голос Оливии из соседней комнаты. «Ах, бедная девочка, — произнесла она голосом, которого Генри никогда не забудет, — столько в нем было смятения и тревоги, что вся ее внешняя „оливщина“ исчезла, слетела как шелуха. — Ах вы, бедная, бедная моя девочка!»

И тут Генри встал из-за стола и вошел в ту комнату; он не очень много помнит, только тоненький голосок Дениз, а потом — несколько минут разговора с ее свекром.

Отпевание проходило в храме Святой Богородицы Сокрушения, в родном городе Генри Тибодо, в трех часах езды от них. Храм был большой, с витражными окнами, священник у алтаря — в белом многослойном облачении — помахивал кадилом, в котором курился ладан. К тому времени, как приехали Оливия и Генри, Дениз уже сидела рядом с сестрами на передней скамье. Гроб был закрыт, как и накануне, во время бдения у гроба. [*Бдение у гроба* — поминки, устраиваемые перед похоронами.] Храм оказался почти целиком заполнен людьми. Генри с Оливией сели в одном из последних рядов; он не видел кругом знакомых лиц, пока чья-то огромная, молчаливая фигура, смутно обрисовавшаяся рядом, не заставила его поднять глаза. Перед ними стоял Джерри Маккарти. Оливия и Генри подвинулись на скамье, давая ему место.

Джерри прошептал: «Я прочел про это в газете», и Генри на миг положил ладонь на толстое колено парня.

Заупокойная служба все длилась и длилась; читались тексты из Библии, потом еще другие тексты, затем началась сложная подготовка к причастию. Священник доставал скатерти, разворачивал их, драпировал ими стол, а затем люди стали подниматься со своих мест, подходили к нему — ряд за рядом, опускались на колени и открывали рты, чтобы он положил туда облатку, и каждый отхлебывал вино из одного и того же большого серебряного кубка; Генри с Оливией оставались на своей скамье. Несмотря на охватившее его чувство нереальности происходящего, Генри поразила негигиеничность процедуры — ведь все эти люди отхлебывали вино из общей чашки, — а потом он, с неменьшим удивлением и с некоторой долей цинизма отметил, что, когда все прихожане отхлебнули каждый свою порцию, священник, запрокинув клювастую голову, допил оставшиеся в кубке капли.

Шестеро молодых мужчин понесли закрытый гроб по центральному проходу храма. Оливия ткнула Генри локтем в бок. Он кивнул. Один из несших гроб — один из последних — был так бледен и шел с таким потрясенным лицом, что Генри испугался, как бы тот не уронил свою ношу. Это был Тони Кьюзио: несколько дней тому назад, во мгле раннего утра, он принял Генри Тибодо за оленя, спустил курок и убил своего лучшего друга.



Кто мог прийти ей на помощь? Ее отец жил далеко, на севере Вермонта, с ее тяжелобольной матерью; братья с женами — в нескольких часах езды от нее, родители мужа были буквально парализованы горем. Она прожила у них две недели, а когда вернулась на работу, объяснила Генри, что не смогла дольше с ними оставаться: они были добры к ней, но у Дениз больше не было сил слышать, как всю ночь рыдает свекровь. «У меня просто руки-ноги трястись начинали», — сказала она. Ей необходимо было остаться одной, чтобы самой выплакаться. «Конечно, Дениз», — ответил ей Генри. — «Но я не могу вернуться в наш трейлер». — «Конечно».

В ту ночь Генри сидел в постели, уперев подбородок в ладони.

— Оливия, — произнес он, — девочка совершенно беспомощна. Слушай, она даже машину водить не умеет и никогда в жизни не выписывала чеков.

— Как это может быть, — удивилась Оливия, — чтобы человек вырос в Вермонте и даже не умел водить машину?

— Непонятно, — признал Генри. — Я и представления не имел, что она водить не умеет.

— Знаешь, я теперь понимаю, почему Генри на ней женился. Сначала не разобралась. А потом, когда его мать на похоронах увидела... Ох, бедняжка! Но в ней, как мне показалось, ни женской привлекательности, ни живости какой-то просто нет ни на грош.

— Ну, она же почти совсем сломлена горем.

— Это-то я понимаю, — без раздражения откликнулась Оливия, — я просто хочу, чтобы ты понял, что Генри женился на своей матери. С мужчинами такое бывает. — И после паузы: — Ты — исключение.

— Дениз необходимо научиться водить машину, — сказал Генри. — Первым делом. И ей надо где-то жить.

— Запиши ее в автошколу.

Однако вместо этого он повез Дениз на своей машине по немощеным проселочным дорогам. Снега выпало уже довольно много, но на дорогах, ведущих вниз, к заливу, рыбацкие грузовики умяли снег.

— Вот так. Медленно-медленно выжимайте сцепление.

Машина взбрыкнула, словно дикая лошадь. Генри уперся рукой в приборную панель.

— Ой, простите, — прошептала Дениз.

— Ничего, ничего. У вас хорошо получается.

— Я просто боюсь. Ой, боже!

— Просто она совсем новая. Но, Дениз, любой кретин способен водить машину.

Она взглянула на Генри, и вдруг с ее губ сорвался смешок; он тоже рассмеялся, сам того не желая, а ее смех разрастался, сотрясая ее так, что из глаз брызнули слезы, и ей пришлось остановить машину и взять у Генри предложенный им белоснежный платок. Дениз сняла очки, а он смотрел в окно в противоположную сторону, чтобы она могла спокойно воспользоваться его платком. Снег сделал лес по обеим сторонам дороги похожим на картину в черно-белых тонах. Даже вечнозеленые кроны казались темными, простирая ветви над черными стволами.

— Ну ладно, — сказала Дениз и снова нажала на стартер.

Генри снова швырнуло вперед. Если она спалит сцепление, Оливия устроит бурю.

— Это абсолютно нормально, — утешил он Дениз. — Совершенство дается практикой, только и всего.

Через несколько недель Генри повез ее в Огасту, где она сдала экзамен по автовождению, а потом отправился вместе с ней покупать машину. Деньги на это у Дениз были. Как оказалось, Генри Тибодо в свое время заключил выгодный договор страхования жизни, так что ей осталось хотя бы это. А теперь Генри Киттеридж помог ей застраховать машину, объяснил, как совершать платежи. Еще до этого он повел Дениз в банк, и впервые в жизни у нее появился собственный банковский счет. И Генри показал ей, как выписывать чек.

Он пришел в ужас, когда как-то на работе Дениз упомянула, сколько денег она послала в храм Святой Богородицы Сокрушения, чтобы там каждую неделю возжигали свечи и каждый месяц читали мессу в память ее Генри. Но сказал: «Ну что ж, это хорошо, Дениз». Она похудела, ее круглые щеки ввалились, и как-то, когда в конце дня он стоял в вечерней тьме на стоянке за аптекой и при свете фонаря на углу дома смотрел, как она села в машину, его поразило вид ее напряженного лица, вглядывавшегося вперед, поверх руля. Когда он сам сел в свою машину, его сотрясала такая печаль, что он не мог избавиться от нее до утра.

— Что с тобой происходит, черт возьми? — спросила Оливия.

— Дениз, — ответил он. — Она совершенно беспомощна.

— Люди никогда не бывают такими беспомощными, какими кажутся, — заметила Оливия. И добавила, хлопнув крышку на кастрюлю, стоявшую на плите: — Господи, этого-то я и боялась.

— Чего боялась?

— Послушай, выведи ты эту чертову собаку во двор! А сам садись ужинать.

Для Дениз нашли квартирку в небольшом новом жилом комплексе за городом. Свекор и Генри помогли ей перевезти немногочисленные вещи. Квартира находилась на первом этаже и оказалась не очень светлой. «Зато здесь чисто», — сказал Генри, глядя, как Дениз открывает дверцу холодильника и рассматривает его новое, совершенно пустое нутро. Она лишь молча кивнула в ответ, закрывая дверцу. Потом тихо произнесла: «Я раньше никогда не жила одна».

На работе Генри замечал, что Дениз ходит по аптеке, словно в нереальности; он чувствовал, что и его жизнь становится невыносимой, чего он никак не мог ожидать. Сила этого чувства была необъяснима, бессмысленна. Но оно его тревожило, оно было чревато ошибками. Он забывал сказать Клиффу Мотту, что ему обязательно надо съесть банан, чтобы восстановить калий, раз теперь к дигиталису ему добавили мочегонное. А одна женщина, Тиббетс, плохо спала ночью после эритромицина: неужели он не предупредил ее, что лекарство надо принимать во время еды? Он работал медленно, порой пересчитывая таблетки по два-три раза, прежде чем положить их во флаконы, перепроверял рецепты и сигнатурки, которые печатал. А дома, когда Оливия что-то ему говорила, он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, чтобы показать, что она полностью владеет его вниманием. Но она никак не владела его вниманием. Оливия стала пугающе чужой. Ему часто казалось, что его сын Кристофер насмешливо ухмыляется ему вслед. Как-то вечером, открыв шкафчик под мойкой и увидев, что мешок для мусора полон яичной скорлупы, комков собачьей шерсти и скомканной воцанной бумаги, Генри крикнул мальчишке: «А ну-ка, вынеси мусор! Это единственное, что мы просим тебя дома делать, а ты даже с этим не справляешься!» — «Перестань орать! — сказала Оливия. — Ты что, думаешь, это делает тебя мужчиной? Какие жалкие потуги!»

Пришла весна, дни удлинились, растопив оставшийся снег, так что дороги стали мокрыми. Расцвела форзиция, желтыми облаками вторгаясь в холодный воздух, а потом и красноголовые рододендроны решительно заявили миру о своем появлении. Генри смотрел на окружающее глазами Дениз и воспринимал красоту как оскорбление. Проезжая мимо фермы Колдуэллов, он обратил внимание на рукописное объявление: «КОТЯТА БЕСПЛАТНО» — и на следующий день приехал в аптеку с кошачьим туалетом, кормом для кошек и маленьким черным котенком, чьи лапки внизу были совсем белыми, словно он только что прошелся по тарелке со взбитыми сливками.

«Ох, Генри!» — воскликнула Дениз, беря у него из рук котенка и прижимая к груди.

Генри был невероятно доволен.

Котенок, Слипперс, [*Слипперс (англ. slippers)* — тапочки.] был очень мал и целый день проводил в аптеке. Джерри Маккарти приходилось держать его в огромной ладони,

прижимая к промокшей от пота рубашке, и говорить Дениз: «Ух, ну да, ужасный милага. Такой славный», пока она не освобождала его от этой крохотной пушистой обузы, забирая котенка и поднося к своему лицу его мордочку на глазах у Джерри, наблюдающего за ней, чуть раздвинув толстые блестящие губы. Джерри прошел еще два семестра в университете, снова окончив каждый с круглыми пятерками. Генри и Дениз поздравили его с видом рассеянных родителей, на этот раз без всякого торта.

Порой у Дениз случались приступы маниакальной говорливости, за которыми следовали дни полного молчания. Время от времени она выходила из аптеки через черный ход и возвращалась с опухшими глазами. «Если хотите, уйдите сегодня пораньше, побудьте дома», — говорил ей Генри. Но она бросала на него испуганный взгляд. «Нет-нет, — в панике отвечала она. — Ох, господи, нет! Мне тут хочется быть».

Лето в тот год выдалось жарким. Он помнил, как Дениз стояла под вентилятором у окна, ее тонкие волосы легкими волнами струились у нее за спиной, а она неотрывно вглядывалась сквозь очки в подоконник. Минуты шли, а она все стояла. На одну неделю она уехала повидать брата. Потом взяла неделю — повидаться с родителями. И сказала, вернувшись: «Мне тут хочется быть».

— Где же она себе нового мужа найдет в этом крохотном городке? — спрашивала Оливия.

— Не знаю, — отвечал Генри. — Сам задаюсь этим вопросом.

— Другая на ее месте уехала бы, вступила бы в Иностраннный легион, но это не для нее.

— Нет, это не для нее.

Пришла осень, вселявшая в него ужас. В годовщину смерти Генри Тибодо Дениз поехала с его родителями на мессу. Генри Киттеридж вздохнул с облегчением, когда тот день закончился, когда миновала одна неделя и другая, но, хотя приближались зимние каникулы, его все равно мучило беспокойство, будто он нес что-то такое, что нельзя было никуда поставить. И когда, как-то вечером, дома зазвонил телефон, Генри пошел снять трубку с тяжким предчувствием беды. Он услышал тонкий голосок и всхлипывания — точно повизгивания — Дениз: Слипперс каким-то образом выскочил из дому, а она не заметила и только что, выезжая в магазин за продуктами, задавила котенка.

— Отправляйся к ней, — сказала Оливия. — Ради всего святого! Поезжай, утешь свою возлюбленную.

— Прекрати, Оливия! — ответил ей Генри. — Это ни к чему. Она просто молоденькая вдова, случайно задавившая любимого котенка. Господи, неужели у тебя нет ни капли сочувствия? — Его била дрожь.

— Никакого черта она бы не задавила, если бы ты ей этого котенка не преподнес!

Он взял с собой валиум. Весь вечер он, беспомощный, просидел рядом с рыдавшей Дениз на диване. Он жаждал обвить руками ее худенькие плечи, но сидел, сжав ладони на коленях. На кухонном столе горела небольшая лампа. Дениз сморкалась в его белоснежный платок и говорила: «Ох, Генри, Генри!» А он не мог понять, какого именно Генри она имеет в виду. Она подняла голову и взглянула на него. Ее маленькие глазки почти совсем скрылись в опухших веках: она сняла очки, чтобы прижать к глазам его платок. «Я с вами все время в мыслях разговариваю, — сказала она, надевая очки. И прошептала: „Простите, пожалуйста“». — «За что?» — «Что все время в мыслях с вами разговариваю». — «Ну что вы!»

Генри уложил ее спать, как ребенка. Она послушно отправилась в ванную, переоделась в пижаму и улеглась в постель, натянув одеяло до подбородка. Он сел на край кровати и гладил ее по голове, пока валиум не возымел свое действие. Веки ее опустились, она повернула голову набок и пробормотала что-то, чего Генри не смог разобрать. Когда он медленно ехал домой по узким дорогам, тьма, тяжело приникавшая к окнам, казалась ему живой и зловещей. Он представлял себе, как переезжает подальше, на северную окраину штата, и живет в маленьком доме вместе с Дениз. Он мог бы найти работу где-нибудь там, на севере, Дениз могла бы родить ребенка. Крохотную девочку, которая его обожала бы: девочки обожают своих отцов.

— Ну что, утешитель вдов, как она там? — услышал он в темноте спальни голос Оливии.

— Борется, — ответил он.

— А кто нет?

На следующее утро они с Дениз работали в молчании, полном душевной близости. Когда она стояла у кассы, а он на своем месте в конце зала, он все равно ощущал ее невидимое теплое присутствие рядом, будто она обратилась котенком или он сам — Слипперс: их души соприкасались друг с другом. В конце дня Генри сказал: «Я буду заботиться о вас». Голос у него был хриплым от переполнявших его чувств. Дениз остановилась перед ним и кивнула. Он задержал молнию на ее пальто.

До сего дня он так и не понимает, о чем тогда думал. На самом деле многого он, как ему кажется, не может припомнить. Помнит, что Тони Кьюзио несколько раз приходил к Дениз. Что она говорила ему — Тони нельзя развестись, так как он все равно не сможет еще раз жениться церковным браком. Помнит жгучие уколы ревности и гнева, когда он представлял себе, как этот Тони сидит в маленькой квартирке Дениз поздним вечером, моля его простить. Чувство, что его затягивает серая паутина, липкие сети которой, крутясь, сплетаются вокруг него в лабиринт. Что ему хотелось, чтобы Дениз не переставала его любить. И она его любила. Он видел это в ее глазах, когда она

уронила красную варежку, а он поднял ее, раскрыл и держал так, пока она просовывала туда руку. «Я с вами все время в мыслях разговариваю». Боль была острой, беспредельной, невыносимой.

«Дениз, — как-то вечером обратился он к ней, когда они закрывали аптеку, — вам нужно завести друзей».

Ее лицо залилось густой краской. Она надела пальто какими-то неожиданно резкими движениями. «У меня хватает друзей», — сказала она чуть слышно.

«Разумеется. Но здесь, в городе. Вы могли бы ходить на бальные танцы в Грейндж-холл. [Грейндж-холл (амер. Grange Hall) — клуб местной ассоциации фермеров.] Мы с Оливией ходили. Там собираются вполне приятные люди. — (Она протиснулась мимо него, лицо ее блестело от пота, ее волосы — самая макушка — чуть не коснулись его глаз.) — Или, может быть, вы считаете, что все это слишком консервативно?» — неловко спросил он уже во дворе, на стоянке. «Я и сама консервативна», — тихо ответила она. «Да, — согласился Генри, — Я тоже».

Когда в вечерней мгле он ехал домой, он представлял себе, как ведет Дениз на танцы в Грейндж-холл. «Кружим партнершу, господа, а теперь променад...» Ее лицо расцветает улыбкой, ее ножка отбивает такт, ладони на бедрах. Нет, это было невыносимо, и Генри вдруг по-настоящему испугайся вспышки гнева, которую он неожиданно вызвал у Дениз. Он ничего не мог для нее сделать. Не мог заключить ее в объятия, не мог поцеловать ее вспотевший лоб, спать рядом с ней, когда она надевает свою девчоночью фланелевую пижаму, ту, в которой спала в ночь гибели Слипперса. Покинуть Оливию было столь же невыносимо, как отпилить собственную ногу. Да и в любом случае Дениз не захочет взять в мужья разведенного протестанта, а он не сможет смириться с ее католицизмом.

Шли дни, Генри и Дениз все меньше говорили друг с другом. Теперь он постоянно ощущал идущую от нее неумолимую, обвиняющую холодность. Что же он сделал, на что заставил надеяться? И все-таки, если она упоминала о визите Тони Кьюзио или коротко сообщала, что смотрела фильм в Портленде, столь же обвиняющая холодность поднималась и в нем самом. Приходилось до боли стискивать зубы, чтобы не сказать: «Ах, так вы слишком консервативны, чтобы ходить на бальные танцы?» Противно было, что в голову ему приходит выражение «Милые бранятся — только тешатся».

А еще как-то, так же неожиданно, она сказала — якобы обращаясь к Джерри Маккарти, который в те дни стал слушать ее с какой-то совершенно новой манерой держаться, необычной для этого толстого, неуклюжего парня, — однако на самом деле адресовалась она к Генри (он хорошо понимал это по взглядам, которые она бросала на него, нервно сжимая руки): «Моя мама, когда я была совсем маленькой, еще до ее болезни, пекла особые булочки к Рождеству. Мы их украшали глазировкой и цветными крошками. Ох, мне думается, это было для меня самое интересное в те времена...» Голос Дениз дрогнул, глаза за стеклами очков заморгали. И Генри

подумал, что гибель ее мужа заставила ее почувствовать, что вместе с ним умерло и ее детство, что она горюет об утрате своего единственного «я», которое успела осознать, горюет о превращении в теперешнюю молодую, растерянную, сбитую с толку вдову. И его взгляд, встретившись с ее взглядом, смягчился.

Так, круговоротом циклов, шло время. Впервые в своей жизни Генри-фармацевт позволил себе принимать снотворное: каждый вечер, уходя домой, он прятал в карман брюк таблетку. «Все готово, Дениз?» — спрашивал он, когда наступало время закрывать аптеку. Она либо молча шла взять пальто, либо произносила, ласково глядя на него: «Все готово, Генри. Вот и еще один день прошел».

Дейзи Фостер уже встала, чтобы петь псалом; она поворачивается лицом к Генри и улыбается. Он отвечает ей улыбкой и открывает Псалтырь. «Бог — наша крепость, наш оплот, вовеки нерушимый». Эти слова и поющие их голоса не слишком многочисленных прихожан рождают в нем и надежду, и глубокую печаль. «Вы сможете научиться снова любить кого-то», — сказал он Дениз, когда она подошла к нему в задней комнате аптеки в тот весенний день. Сейчас, опустив Псалтырь в чехол на спинке сиденья перед собой и снова садясь на короткую скамью, он вспоминает другой день, тот, когда в последний раз виделся с Дениз. Они с ребенком приезжали на север повидать родителей Джерри и заехали к Киттериджам по дороге. Малыша звали Пол. И вот что запомнилось Генри: Джерри саркастическим тоном говорит о том, что Дениз каждый вечер засыпает на диване, а иногда так и спит там всю ночь. Дениз отворачивается, смотрит куда-то вдаль над заливом; ее плечи сутулятся, маленькие груди едва натягивают тонкую водолазку, но живот большой, будто кто-то разрезал пополам баскетбольный мяч и ей пришлось проглотить одну половинку. Это совсем не та девочка, какой она когда-то была, — никакая девочка не может навсегда остаться девочкой, — это мать, уже усталая, ее круглые щеки втянулись, а живот выпятился, у нее вид человека, придавленного непосильной тяжестью жизни. И тут Джерри резко произносит: «Дениз, встань прямо! Расправь плечи!» И смотрит на Генри, качая головой. «Сколько раз мне приходится ей это повторять!»

«Давайте-ка мы вас рыбной похлебкой накормим, со свининой и овощами, — предлагает Генри. — Оливия вчера вечером приготовила». Но им надо ехать дальше, и, когда они уезжают, он ни слова не говорит об их визите, да и Оливия, как ни удивительно, тоже молчит. Генри никогда бы не подумал, что взрослый Джерри станет таким, каким стал: крупный мужчина, опрятный и чистый на вид — явно стараниями Дениз, — даже уже не толстый, просто большой, с большой зарплатой, и разговаривает он с женой в той же манере, в какой Оливия порой разговаривает с Генри. С тех пор Генри больше не видел Дениз, хотя она, должно быть, приезжала в их края. В своих записочках, присылаемых с открытками ко дню его рождения, она сообщала о смерти матери, потом, несколькими годами позже, — о смерти отца. Она, несомненно, должна была приехать на похороны. Вспоминает ли она о нем? Заезжали ли они с Джерри на кладбище — навестить могилу Генри Тибодо?

— Вы выглядите цветущей и свежей, точно маргаритка, — говорит Генри, улыбаясь Дейзи Фостер, когда они выходят на парковку.

Это их привычная шутка: [*Дейзи (англ. daisy)* — маргаритка.] он говорит ей эти слова уже много лет подряд.

— А как Оливия?

Глаза у Дейзи по-прежнему большие и красивые, всегдашняя улыбка никуда не исчезла.

— Оливия — прекрасно. Ведет дом, поддерживает огонь в очаге. А что у вас нового?

— А у меня завелся поклонник. — Дейзи произносит это тихо, прикрыв рот рукой.

— Да неужели? Дейзи, это же замечательно!

— Он днем страховые полисы продает в Хитуике, а вечерами, по пятницам, водит меня на танцы.

— О, это просто чудесно! — снова радуется Генри. — Надо, чтобы вы с ним как-нибудь пришли к нам на ужин.

«Почему тебе обязательно нужно всех поженить? — сердито спросил его Кристофер, когда Генри как-то задал сыну вопрос о его личной жизни. — Почему бы тебе просто не оставить людей в покое? Может быть, они хотят остаться одни!»

Он не хочет, чтобы люди оставались одни.

Дома Оливия кивком указывает на столик, где рядом с африканской фиалкой лежит открытка от Дениз. «Пришла вчера, — говорит Оливия. — Я забыла».

Генри тяжело опускается на стул и открывает конверт самопиской; отыскивает очки, вглядывается в строчки. Записка длиннее, чем обычно. В последние дни лета Дениз очень испугалась. Экссудативный перикардит, но все обошлось. «Этот случай меня изменил, — писала она, — опыт ведь всегда изменяет человека. Он дал мне понять, что на самом деле важно, расставил по местам мои приоритеты. С тех пор я проживаю каждый свой день с глубочайшей благодарностью за то, что у меня есть семья, дети. Ничто не может быть важнее семьи и друзей, — написала она своим аккуратным мелким почерком. — А меня судьба благословила и теми и другими».